

РУБИ НАМДАР

РАЗОРЕННЫЙ
ДОМ

роман



{КНИЖНИКИ}

Москва

2024

УДК 821.411.16
ББК 84(5Изр)
Н24

*С безграничной любовью — Кэролин,
без которой ничего этого бы не произошло.*

Намдар, Руби.

Н24 Разоренный дом : роман / Руби Намдар; [пер. с иврита З. Немовой] —
М. : Книжники, 2024. — 568 с.
ISBN 978-5-906999-73-3

Эндрю Коэн, профессор сравнительной культурологии Нью-Йоркского университета, находится в зените жизни. Студенты и аспиранты боготворят его. Престижные литературные журналы охотно печатают его статьи. И он вот-вот получит желанное повышение. У Эндрю прекрасные отношения с бывшей женой и ее новым мужем, а любящие дочери восхищаются им. Энн Ли, бывшая студентка Эндрю, вдвое моложе профессора, — чудесный собеседник и идеальная спутница. Он следит за собой, подтянут и не выглядит на пятьдесят два. Кроме того, профессор Коэн слывет интеллектуалом с утонченным и изысканным вкусом. Словом, Эндрю Коэн — образец успеха во всем.

Но тщательно вытканное полотно его мира начинает рваться, и это совпадает с чередой странных видений, связанных с каким-то древним ритуалом. Видения внезапно посещают профессора, вызывая сомнения в привычных ценностях и постепенно разрушая все его комфортное существование.

Руби Намдар, американский писатель родом из Израиля, в завораживающей манере рассказывает тонкую и провокационную историю о материализме, традициях, вере и поисках смысла в современной культуре.

УДК 821.411.16
ББК 84(5Изр)

ISBN 978-5-906999-73-3

Copyright © 2013 by Reuven Namdar
Published by arrangement with Harper, an imprint of HarperCollins Publishers.
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «ИД «Книжники»,
2024

*Между рождением и смертью мы должны плакать
и плакать, чтобы очистить себя через слезы...*

Мохсен Махмальбаф, «Салям, Синема!», 1995

*Когда Святой, благословен Он, вспоминает
о своих сынах, пребывающих в горе среди народов мира,
Он проливает две слезы в великое море, и голос Его
раздается от одного края света до другого.*

Вавилонский Талмуд, трактат Брахот 59а

КНИГА
ПЕРВАЯ

Что угаб-свирель для царя моего в Сионе,
что древний алтарь для племени моего,
То для меня — стол, за которым пишу
в молчаливые дни своего обета. Смотрю на него
Взглядом изгнанника: того музыканта, того жреца;
Вот такая свирель и такой вот алтарь.

Ури Цви Гринберг,
«Певец, напев и тот, кто рядом» из цикла «Улицы реки»

1

Погожим утром шестого элула пять тысяч семьсот шестидесятого года от сотворения мира, в день, совпавший с шестым сентября двухтысячного года по новому стилю, разверзлись небесные врата над великим городом Нью-Йорком, и семь небес явились прямо над станцией метро «Четвертая авеню», возвышаясь одно над другим, словно ступени лестницы, поднимающейся с земли в горние выси. Блуждающие души скользнули из мира в мир сонмом теней; одна, светлая до прозрачности, была фигура коэна, первосвященника, — голову его венчал свитый из ткани кидар, а в руке он держал золотую кадьлицу. Человеческому взгляду это видение было недоступно, и никто не осознал величие момента, именуемого *шеат рацон*, — часа, когда принимаются все молитвы, все до единой. Лишь старый негр, опухший от голода бездомный старик, который лежал на станционной скамье в куче грязного тряпья и всей душой желал умереть, в тот же миг отправился к Творцу, скончавшись мгновенно и безболезненно — смертью, которую еще называют «целующей». На его мертвом лице застыла блаженная улыбка того, кто искупил все свои прегрешения, замкнул круг и удостоился вечного покоя.

В это же время совсем неподалеку, в модном, недавно открывшемся в фойе здания Левитт кафетерии с окнами на Вашингтон-Сквер-парк, Эндрю П. Коэн, профессор кафедры сравнительной культурологии Нью-Йоркского университета, готовился к вводной лекции своего курса «Критика культуры

или культура критики? Введение в компаративистскую мысль», который он читал каждый год в осенний семестр. Коэн был мастер давать изящные названия своим курсам, творческим и оригинальным, привлекавшим студентов всех кафедр, — свободных мест на них не оставалось ни одного. Изящностью отличались не только названия, но и содержание: яркое, отшлифованное, обладавшее силой воздействия; впрочем, главная сила заключалась, конечно, в красоте и ясности, с какими были сформулированы и излагались в них интерпретационные модели, которые с легкостью можно ухватить и усвоить. Эпитет «изящный» можно было отнести практически ко всему, в чем было заметно участие или влияние Эндрю П. Коэна, он подходил как нельзя лучше и самому профессору: в его внешнем виде, одежде, жестах, манерах и речи, стиле письма и образе мыслей сквозили утонченность и аристократизм, оседавшие позолотой на всем, к чему профессор прикасался. Многие, кому довелось испытать на себе воздействие этой праздничной приподнятости, пытались объяснить его «харизмой», но даже они тотчас сознавали, что это понятие здесь не совсем подходит и, пожалуй, чересчур вульгарно. Вне всякого сомнения, харизма у профессора имелась, но было что-то еще, неуловимое, не поддающееся словесному описанию. Анджела Маренотте, его ученица, остроумная молодая кинематографистка, изучающая современные визуальные технологии, однажды все же попробовала выразить то, что она ощущала в присутствии профессора: «У него есть аура». Разговор шел в кафетерии, где участники еженедельного семинара для аспирантов собрались после занятия. В тот раз Коэн не вел дискуссию, а вместе со всеми слушал приглашенного лектора, женщину с кафедры гендерных исследований, которая рассказывала о скрытых предубеждениях, бытующих в, казалось бы, гендерно нейтральном мире виртуальной реальности. «Понимаешь, — объясняла Анджела очкастой докторантке, вышедшей постоять за компанию, пока она выкурит запретную сигаретку у пожарного выхода из кафетерия, — это не та аура, — (она пальцами начертила в воздухе кавычки), — о которой говорят псевдомистики

ню-эйдж. Это ближе к миру кино или телевидения. Такую ауру видишь у звезд, особенно когда вдруг сталкиваешься с ними не на съемках, а где-нибудь в жизни: на вечеринке, в ресторане или на открытии выставки... От них исходит такое свечение, будто они все еще в гриме под софитами, — их кожа светится, прям-таки сияет, и они... Слушай, пора обратно». Она бросила тлеющий окурок на землю и двинулась к двери, докторантка поспешила за ней. «Они не кажутся настоящими. Точно: они как ненастоящие! Словно восковые копии самих себя — такие идеальные и подсвеченные. По мне, так это даже своего рода достижение — превратиться в икону, в символ того, кто ты есть, или, вернее, что ты есть. Понимаешь, о чем я?» Докторантка, слегка влюбленная в Анджелу и слегка влюбленная в Коэна, энергично закивала, хотя совсем не была уверена, что понимает.

По случаю начала семестра на профессоре Коэне был старомодный белый костюм-визитка, смотревшийся бы претенциозно и безвкусно на ком угодно другом. Зеленый галстук, украшенный пурпурной вышивкой, завершал парадный, немного ироничный образ, поддерживать который профессору весьма нравилось. Такая же изощренная дерзость на грани шутовства, исследующая с довольно близкого, но безопасного расстояния границы хорошего вкуса, читалась и в прочих деталях: в старомодных часах на левом запястье, в массивной почти до карикатурности оправе очков для чтения, в челке с вкраплениями седины, которая придавала владельцу особое очарование явной отсылкой к Уорхолу. Стол, за которым Коэн готовился к лекции, стоял немного особняком, в треугольнике яркого солнечного света, словно приподнимавшем его над полом. Две молодые красивые студентки то и дело поглядывали в сторону профессора, перешептывались и хихикали от восхищенного смущения. Он улыбнулся сам себе, продолжая перелистывать записи. Ему было не привыкать к теплым обожающим взглядам, которые бросали на него студентки. Если б захотел, он мог, конечно, соблазнить почти любую, но как человек с моральными устоями практически никогда не нарушал границ профессиональной

этики. Взгляд профессора продолжал скользить по тезисам лекции. Коэн не относился к числу преподавателей, у которых подготовка к каждому занятию принимает форму одержимости. Он был прирожденный педагог, в совершенстве владел материалом, идеи были идеально уложены у него в голове. К тому же ему всегда прекрасно удавалось импровизировать.

А там, в вышине, продолжали одно над другим вздыматься небеса — разверстые, красочные, озаряющие весь мир сиянием. Прозрачный занавес натянулся шатром, явив синеву небосвода; над горными высями чистым хрусталем блистала манна небесная; воссиял небесный чертог; раздались под сводами песнопения, послышался глас с небес; распахнулись неопалимые двери, сокрывающие место пребывания в небесном чертоге, и явили обильные запасы града и снега, пещеру тумана и палату бури. И над всем этим, далекое от истосковавшегося сердца, вознеслось Место Чистое, Вышнее, Потаенное.

Но в земных пределах творилась все та же радостная суета первого учебного дня: первокурсники бегали по коридорам в поисках аудиторий, сталкивались друг с другом, и вот так, на бегу, завязывались знакомства, зарождались привязанности и обнаруживались склонности, которые в дальнейшем определят их взрослую жизнь. Преподаватели расхаживали туда-сюда, скрывая под фасадами церемонного равнодушия сознание собственной важности. Секретари кафедр холодным взглядом встречали любого, кто в поисках совета или помощи осмеливался переступить порог их кабинетов. И только профессор Коэн уловил нечто иное, значительное, что вдруг завладело им и что-то сдвинуло внутри. Он перевернул страницу, черкнул несколько слов на полях и уже собирался перевернуть ее, как вдруг без всякой видимой причины его захлестнула щемящая тоска по чему-то неизъяснимому. Глаза его остекленели. Он смотрел невидящим взглядом на бумаги, не в силах разобратить собственный почерк. Тезисы лекции теперь были понятны профессору не более чем узелковое письмо или неизвестный шифр. Он чувствовал, как сердцу становится тесно в груди, глаза увлажняются и вот-вот набухнут две большие круглые

слезы, грозящие сорваться с ресниц. Непонятное волнение продолжалось совсем недолго, всего пару мгновений. Небесные врата закрылись, ведущая к ним лестница сияющего света растаяла в воздухе подобно радуге, которая растворяется в облаке у нас на глазах. Последняя золотая искорка тускло блеснула в тумане, и все вернулось на круги своя, будто ничего и не было. Коэн очнулся. Его пальцы сжались на кофейной чашечке. Не замечая, что чашка пуста, он поднес ее ко рту и почти перевернул вверх дном. Последняя капля кофе скатилась по стенке и упала ему на язык, тяжелая и горькая, и ее вкус окончательно вернул профессору утраченное на мгновение ощущение реальности. Взгляд снова сосредоточился на лежавших перед ним бумагах. Буквы вновь сложились в слова, а слова — в предложения. Все стало как прежде, почти все. Он потянулся рукой к галстуку, будто хотел немного ослабить его, но на полпути передумал и опустил руку обратно на стол. Что сейчас с ним произошло? Он очень давно не был так близок к тому, чтобы расплакаться.

2

О, Манхэттен, остров богов, арена великих свершений — свершений из металла, стекла и энергии, остров острых углов, вершина мира! Временами кажется, что все мы — нищие и богачи, потребители и производители, клиенты и обслуживающий персонал — трудимся вместе вот уже несколько веков, вкладывая (под руководством незримого Инженера) весь свой пыл в строительство самого великолепного города, когда-либо явленного миру. Мы тянем все дальше и дальше бульвары и авеню, ровняем их, тщательно выверяем пропорции зданий, возводимых вдоль них. Мы кладем все наши жизненные силы к подножиям небоскребов, толкая их вверх: скажем, к Эмпайр-стейт-билдинг в течение последнего десятилетия были добавлены два этажа, а башни-близнецы, расположенные в южной части острова, в ближайшее столетие вырастут в полтора раза. Мало-помалу мы углубляем реки

вокруг нашего острова: Гудзон стал вдвое глубже, чем был, когда здесь появились первые белые переселенцы. Глубина Восточной реки тоже увеличилась бы вдвое, но зловонные отходы, несущиеся в нее нескончаемым потоком, превращают наш труд в сизифов. Все взлетает, ускоряется, растет: индекс Доу-Джонса на Уолл-стрит, население, суммы взяток для обхода муниципальных законов, ограничивающих высоту зданий, плата за услуги проституток, цены на породистых собак, тарифы метро, стоимость недвижимости. Протягиваются новые мосты, соединяющие нас с материком, туннели становятся глубже. Конические навершия водонапорных башен, установленных на крышах домов, устремляются ввысь, увлекая за собой все строение и грозя оторвать его от фундамента. Наступит день, и поезда метро сойдут с рельсов, пробурявят землю до самого ее сердца, обрывая стремительным движением последние пути, которыми еще удерживается город. Наш остров оторвется от своего скального основания, взмоет подобно серебристому снаряду в небесную высь, и та поглотит его. Реки забурлят и вспенятся, огромные массы воды хлынут и затопят рану, зияющую в теле земли. А как стихнет буря и все уляжется, наступит неземной покой. И только большие, тяжелые морские птицы будут парить над гладью вод.

3

9 СЕНТЯБРЯ 2000 / 9 ЭЛУЛА 5760

Десять утра. Эндрю выбрал диск и вставил в прямоугольную щель — стереосистема с жадностью заглотила серебристый кружок. Он подождал, пока рычащая кофеварка взобьет молочную пену, легким нажатием запустил диск; протянув руку через кухонную стойку, подхватил чашку и направился в гостиную, к коричневому кожаному дивану, к манившему вороху журналов, еженедельников и воскресных выпусков газет на кофейном столике. Звуки музыки наполнили

светлое, напоенное воздухом чистое пространство квартиры. Лучи солнца струились через распахнутую дверь спальни с окнами на юг; ажурные белые занавески замедляли поток света, рассеивали и смягчали его. Знакомый, любимый сердцу вид открывался из четырех огромных, обращенных на запад окон гостиной: зеленые кроны Риверсайд-парка, за которыми, играя рябью, тянулся синей полосой с серебристым отливом Гудзон. Этот вид был полновластным хозяином квартиры, он открывался почти из любого угла. Реку было видно уже от входной двери, а также из столовой и даже (что было особенно важно для Эндрю) из кухонной зоны. Во время ремонта он снес стены с решимостью человека, который непримирим ко всему навязанному и стремится разглядеть скрытое за ним. Вряд ли бывший владелец, пожилой еврей, перебравшийся после выхода на пенсию с женой во Флориду, продавая свою недвижимость в самый разгар кризиса по смехотворной цене, мог вообразить, что стараниями Эндрю его нью-йоркская квартира с сумрачными душными коридорами превратится в свободное пространство. И теперь Эндрю мог готовить на кухне салат, или варить кофе, или завтракать, сидя на барном стуле за стойкой, покрытой сланцевой плиткой, и одновременно созерцать раскинувшийся перед ним, как модульная картина, в четырех широких окнах роскошный вид. Было в нем что-то импрессионистическое, живое, свежее: бесконечность цветочных пятен, образующих кроны деревьев, бесчисленные мазки, складывающиеся в речную зыбь, ежечасно меняющиеся свет, цвет, фактура, движение... Весна заливала все четыре окна буйством зеленого. Осень раскрашивала их в золотые, медные и пурпурные тона. Зима лишала деревья покровов, и они, выставленные в своей суровой наготе на всеобщее обозрение, резко выделялись на серебристом фоне реки. Поздние летние закаты театрально отбрасывали оранжево-золотистые блики на темную поверхность воды, и даже уродливые промышленные здания и многоквартирные башни на том берегу Гудзона представлялись фрагментами грандиозного живописного произведения. Эндрю переселился в эту квартиру восемь лет назад, но вид

за окнами для него по-прежнему скрывал в себе сюрпризы и тайны, и насытиться им или привыкнуть к нему невозможно.

Больше всего Эндрю нравилось утро субботы. Он любил проводить это время уединенно и шутливо называл его про себя «время для личной жизни с самим собой». Неспешный глоток кофе, с тонким расчетом подобранная музыка, непринужденное перелистывание приложений было сродни медитации, помогало погрузиться в свою самость, непотревоженную и неповрежденную. Эндрю чувствовал, как заряжается творческой энергией на всю последующую неделю. Молчаливое, острое блаженство охватывало его в эти утренние часы. Он растягивал их, чтобы сполна насладиться ощущением свободы, чистоты и контроля, благодаря самого себя, иногда даже буквально, за то, что однажды нашел в себе решимость встать и уйти из дома, из безостановочной вязкой суеты семейной жизни ради той личной и эстетической независимости, воплощенной в пространстве его жилища. Его стильный минимализм резко противостоял женской эстетике хаоса, с ее размытыми границами цветов и фактур, символом которой стала для Эндрю в первую очередь жизнь с Линдой: мебель, ковры, безделушки, черно-белые и цветные фотографии детей в рамках, клубки льняной и шерстяной пряжи, разноцветные подушки, лоскутные одеяла, грелки на чайник, вышивки, держатели книг в виде кроликов, лягушек и медведей, растения в горшках, вазы, чеканные медные подносы, резные шкатулки из дерева, слоновой кости и перламутра, железная черная такса-декроттуар на посту у входной двери, маленькое гнездышко с тремя голубыми яичками, старинные керамические горшки из Марокко, разрисованная кафельная плитка из Мексики, африканские резные изображения обнаженных женщин из эбенового дерева. Каждая вещь была красивой и самобытной — Линда отличалась превосходным вкусом; но шли годы, и свойственная нью-йоркским евреям склонность к чрезмерности и нагромождению проявлялась в ней все сильнее: вещи прибывали и накапливались, пока дом не оказался набит ими до отказа и не приобрел вид одной из тех захламленных

антикварных лавок, которые, забыв о своем предназначении, отпугивают ошеломленных покупателей, гонят их в объятья конкурентов. Чем больше задыхался Эндрю в браке, тем невыносимее становилась для него жизнь в их общем доме. Линда, как определил для себя Эндрю на одном из сеансов у дамы-психоаналитика, в сущности была продолжением своей матери и вместе с местечковыми добродетелями унаследовала от нее и ее эстетику. И хотя формы ее проявления изменились почти до неузнаваемости: этнические ковры пришли на смену синтетическим, оригинальные картины — репродукциям, а деревянная мебель в стиле кантри — мебели из фанеры и пластика с их претензией на современность, но суть осталась прежней, и Эндрю не мог, не мог и не хотел оставаться до конца своих дней пленником того неизменного содержания, той же мещанской — до отвращения — домашности, которую олицетворяли для него эти вещи. И сейчас, через восемь лет после развода, он вновь и вновь переживал радостное волнение от чувства свободы, когда по утрам выходил из душа и шел нагишом (если не считать банного полотенца вокруг бедер) к кофеварке на кухонной стойке, пересекая широкий, ничем не стесненный простор гостиной с немногочисленными, тщательно продуманными и подобранными друг к другу красивыми предметами: огромной каллиграфией из расположенных один под другим дореформенных китайских иероглифов, складывающихся в слово «покой»; этажеркой в стиле ар-деко; дубовой резной горкой с фарфором и, конечно, ценной коллекцией африканских статуэток и масок, развешанных на восточной стене. Сама чистота, чтобы не сказать стерильность, квартиры была красноречива. В доме Линды тоже всегда поддерживалась чистота, но она была другого свойства: над ней (это ощущалось во всем) усердно работали, ее бесперебойно обеспечивала домработница Линды, колумбийка Кармен; три раза в неделю она пылесосила, скребла, протирала все в доме. А квартира Эндрю будто самоочищалась. Она словно не допускала самой возможности грязи и пыли, как бы устыжала их и учтиво, но властно выпроваживала в шумную суету улицы. Даже его домработница

Анджела как-то раз посетовала: «Я прихожу сюда неизвестно зачем, разве что постирать и полюбоваться видом из окна. Убирать тут нечего, все и так чисто».

Половина одиннадцатого. Завтра к Эндрю приглашены на ужин десять гостей, но он спокоен и не спешит хлопотать. Он отправится за покупками позднее и, как всегда, успеет сделать все вовремя. Он устроился поудобнее на диване, поставил чашку с кофе на столик и сладострастно оглядел вожделенное изобилие бумаги и свежих, живительных, чеканных слов самых разных оттенков, размеров и форм. У каждого шрифта свой особый, едва заметный «аромат», свое скрытое семантическое поле. Тонкая газетная бумага «Таймс»; мелованная бумага гляцевых журналов, при виде которой он вспоминает кожаные сиденья дорогих авто; кремовые страницы научных изданий и переработанная, похожая на оберточную бумага авангардных зинов, с неровным шрифтом — репликой канонической машинописи, одной из составляющих образа Американского Писателя (затворенные ставни, бутылка виски, клубы сигаретного дыма); и среди всего этого обилия журналов и газет притаился, свернувшись зародышем, последний номер «Нью-Йоркера» с новой статьей самого Эндрю. И хотя Эндрю смотрел гранки всего две недели назад, а его научный ассистент отправил в редакцию последние правки за два дня до сдачи номера в типографию, он все равно разыгрывает удивление, отчасти чтобы усилить предвкушение, отчасти чтобы преодолеть смущение, вызванное в нем той почти детской радостью, которую он испытывает всякий раз при виде собственного имени и хорошо знакомых, им же написанных слов на журнальных страницах. Он длит эти сладкие, будоражащие мгновения, шуршит газетами, извлекает из вороха первый подвернувшийся журнал, смакует случайный заголовок, бегло просматривает содержание номера, неожиданно для себя увлекается чтением редакционной статьи, но через полстраницы бросает. Кофе на столике постепенно остывает, Эндрю время от времени отпивает по маленькому глотку, а красный уголок на обложке интеллектуального журнала маячит откуда-то между газетами. Эндрю игнорирует его.

Он намерен довести до конца привычный ритуал субботнего утра: выбирает из груды журналы, в одних делает импровизированные закладки, другие возвращает в стопку, третьи откладывает в сторону. И только после того, как его томление достигает предела, а чашка кофе опустошена до дна, он берет в руки заветный номер — словно свежий, красный, прохладный плод. Он открывает его со сладостной дрожью, глубоко вдыхает пьянящий запах типографской краски и начинает листать, сдержанно, без спешки, сначала страницы с рекламой, затем с благодарностями и, наконец, с колонкой содержания, где указаны названия статей и имена авторов. Он уже позабыл о первоначальном смущении — его внутренний ребенок ликует! Когда он пробегает глазами по списку в поисках своего имени, легкое приятное возбуждение напоминает то яркое чувство, с каким он в детстве просыпался в день рождения, когда счастливое волнение сменялось беспокойством — а вдруг в этом году о нем забыли? А потом медленно спускался на первый этаж, в гостиную, к куче подарков и аппетитному аромату праздничных оладий с черникой, которые мама напекла специально для него. До сих пор набранное типографским способом Эндрю П. Коэн рождает в нем щемящую ностальгию, дальний отголосок той буйной радости, от которой подпрыгнуло его сердце, когда он увидел печатный заголовок своей первой статьи, опубликованной после того, как редколлегия прогнала его через злодейский обряд инициации, практикуемый академическим племенем. Рукопись ему возвращали раз восемь, не меньше; текстовых редакторов еще не было и в помине, и он каждый раз заново перепечатывал статью на машинке, все двадцать страниц. «Исправления», коих от него требовали члены редколлегии на этапах «доработки», были таких масштабов, что ему приходилось перекраивать статью с начала до конца, полностью меняя ее концепцию, — и, как оказывалось, эта перекройка служила лишь тому, чтобы сделать публикации самих членов редколлегии опорными для его статьи. Не забыл Эндрю и своего изумления перед странным феноменом, обнаруженным, когда он начал публиковаться: его собственные

слова, напечатанные на страницах научных журналов, явно претерпевали удивительную трансформацию — становились более мощными, категоричными. Новый формат, заключавший их в себя словно в рамку, придавал им некую внешнюю силу, достаивал статуса объективной истины. Приверженец творческих методов преподавания и когнитивного обучения, Эндрю из года в год «эксплуатировал» этот феномен на своих занятиях, чтобы наглядно объяснить студентам понятие реификации¹ и дать им возможность прочувствовать суть критического подхода: его ассистенты собирали студенческие работы и возвращали их авторам уже в виде брошюр, после чего студентам предлагалось спонтанно описать то, что они пережили, впервые увидев свои слова и мысли представленными столь «официально». Это было отличное упражнение, и студенты помнили его еще многие годы после окончания университета. Но что самое удивительное, несмотря на постоянную эксплуатацию феномена, несмотря на солидное количество публикаций, в Эндрю по-прежнему жила и при каждой встрече с собственным печатным текстом вспыхивала искра той иллюзии автоматического приобретения «авторитетности», под очарование которой он попал в самом начале пути. Эндрю весь подался вперед и принялся хладнокровно изучать статью, придирчиво вчитываясь в каждую строчку, словно перепроверя себя. Он получал удовольствие от ясных и оригинальных формулировок — своих и в то же время чужих. В глубине души ему было приятно одновременно с чувством выполненного долга ощущать обусловленную самим фактом публикации силу. Время от времени, по субботам, с десяти до двенадцати, он позволял себе маленькую, безобидную дозу самолюбования.

¹ Reification (от лат. res — вещь) — овеществление, одно из обозначений процесса, в ходе которого продукты человеческого мышления и деятельности приобретают самостоятельное существование. — *Здесь и далее, если не указано иное, — прим. ред.*

Ветер с реки бросается в тоске на карнизы из мягкого известняка на фасадах зданий, расчерчивает их символами, оставляет на них невидимые знаки. С диким воем проносится по воздушным тоннелям Мидтауна между утесов из стекла и металла; свистит в углублениях псевдоготических пилястр соборов; вихрем кружит вокруг металлических шпилей сияющих высотных башен, выпукло выделяющихся на фоне меланхолично синего вечернего неба; звонит во все незримые колокола Большого Города, пробуждает от глубокого сна каменные гаргульи на водостоках старинных зданий, так что под его завывания они выглядят злонамеренными и до ужаса опасными. Нет, это не обычный вечерний ветер. Это дыхание времени, времени темного, бездонного — вновь восстающего, вновь требующего своего. Но в пустой квартире ничто не нарушает абсолютной, рукотворной тишины. Окна с двойными рамами превосходно ограждают мир внутри от мира снаружи, космос от хаоса. Стены пылают в оранжевом сиянии заката, блестит натертый паркет, и прямоугольный монитор компьютера отливает в сумерках серебром, будто кто-то взял крошечный фрагмент реки и перенес внутрь квартиры. День бьется с собственными тенями. Последний яркий сполох вдруг озаряет небо, прогоняет на мгновение тьму, но тщетно — эта битва проиграна заранее. Свет отступает, он вынужден сдать позиции, замкнуться в себе. И вот уже тьма накрывает землю, и влажный, сумрачный туман вязко клубится над рекой. Заmeshкавшиеся в речной ряби последние блики собьются в стайку, теснясь, как голуби на голубятне. Преувеличенно грубые черты деревянных масок, созданных африканскими мастерами, начнут смягчаться, сглаживаться, пока их окончательно не поглотят тени; и восхитительные мазки, образующие слово «покой», один за другим сольются со стеной, растворяющейся

в темноте. Самое время встряхнуться, включить свет, выбрать диск, откупорить бутылку вина, подготовиться к ужину, отдать серебро за железо и золото за медь. Солнце ведь никогда не закатывается по-настоящему. Свет вечен. Где-то далеко, в самом сердце океана сейчас золотится восход, и у безымянных островов белые корабли плывут навстречу новорожденному дню, омытые его новым, чистым светом.

5

10 СЕНТЯБРЯ 2000 / 10 ЭЛУЛА 5760

Шесть вечера, гости скоро придут, но Эндрю неторопливо хлопчет на кухне, будто у него в запасе все время мира; подаче блюд он уделяет не меньше внимания, чем их вкусовым качествам и текстуре. Он вообще любит готовить. Благодаря кулинарным изыскам и превосходным винам, подобранным со вкусом, достойным опытного сомелье, его званые обеды заслужили (и не только в кругах, где он вращался) славу чуть ли не королевских. Гости, как обстановка, подбирались с великой тщательностью в стремлении создать безупречный баланс между возбужденностью и расслабляющей близостью. В готовке Эндрю был неизменно изобретательным, но избегал откровенного эпатажа. Кто-то однажды восхищенно заметил, что его блюда геометрически выверены, в совершенстве их пропорций чудится что-то мондриановское. У Эндрю была впечатляющая кулинарная библиотека, тем не менее он позволял себе импровизировать и даже хулиганить. Ему отлично удавались блюда итальянской — по большей части тосканской — кухни, иногда он совершал вылазки на французскую территорию и даже экспериментировал с азиатским фьюженом. Но, как ни странно, лучше всего он готовил мясо. И правда удивительно, что столь возвышенный и отрешенный человек мог с поистине чудесной ловкостью обращаться с таким неделикатным, кровавым, хрящеватым продуктом,

как баранина, говядина, буйволиное мясо или оленина. Его утонченный профиль, сухопарая фигура и седая челка входили чуть ли не в визуальное противоречие с куском выдержанной абердин-ангусской говядины, с педантичной неспешностью приготавливаемой на гриле. Те, кто наблюдал, как Эндрю расправляется с мясом, как сосредоточены и напряжены его действия, в то мгновение легко бы поверили, что он одержим, что в него вселился дух первобытного охотника или шамана, готовящегося принести жертву для умиротворения богов.

Прославленные вечеринки с жарким у Эндрю были приправлены щепоткой ироничной театральности, давно ставшей неотъемлемой частью этого действа. Гости восседают вокруг стола, уже откупоривается третья бутылка вина, закуски неумолимо исчезают, журчит беседа... но где же хозяин? Он на кухне, один на один с мясом. Огромный кусок вырезки лежит на плите серого гранита, установленной специально для таких случаев. Эндрю стоит над ним и пристально в него всматривается, время от времени поднося к губам бокал с вином — тем, вокруг которого построено меню сегодняшнего застолья; проходят долгие минуты глубокого созерцания, Эндрю словно пробует проникнуть взглядом вглубь, рассмотреть строение плоти; затем внезапно, будто желая застать мясо врасплох, он отставляет в сторону бокал и набрасывается на распластанный кусок. Его движения точны и свободны, он режет и колет вырезку, перчит и посыпает ее кристаллами крупной соли, он вбивает в нее пряности и нежно ее поглаживает. Духовка уже как следует разогрелась, и кованая железная сковорода, купленная в Чайна-тауне у мелкооптового торговца ресторанным оборудованием, пышет жаром. Эндрю делает глубокий вдох, поднимает мясо обеими руками и кидает его так, чтобы оно приземлилось на самый раскаленный участок сковороды — точно в центре. Этим достигается настоящий кинематографический эффект: резкое скворчанье оглушает кухню, аппетитный аромат захлестывает всю квартиру, отчего сразу же начинают течь слюнки у гостей. Огонь ревет. Обжигаемое мясо взывает о помощи и подпрыгивает от боли на сковороде, как будто пытаюсь

сбежать, однако жестокий и расчетливый Эндрю начеку, он прижимает его большой двузубой вилкой к раскаленной поверхности. Наконец скворчанье начинает стихать, мясо покрывается огню. Эндрю переворачивает кусок — и драма разыгрывается снова. Мясо, словно поверженный гладиатор, чья участь давно предрешена, вопит и сопротивляется, но недолго, победа остается за огнем. Душа мяса бежит от адского пламени и, затаившись внутри плоти, превращается в дам-тамцит, красный, густой и жаркий сок жизни, изливающийся на поднос и смешивающийся с лимонным соком, перцем, молотой солью и оливковым маслом. Эндрю мастерски нарезает жаркое, нож порхает над куском, почти не касаясь его, и мясо как бы само распадается на пласты.

Перед тем как разложить угощение по тарелкам, Эндрю обильно смачивает каждый ломоть в густом, скопившемся на дне подноса соусе. Гости, ошеломленные ритуалом, и ароматом, и языческим видом сочной, с хрустящей черной каймой и розово-алой в центре плоти, которая сочится кровью на тарелке перед ними, чуть медлят, прежде чем отрезать и отведать первый кусок. Кровь затопляет рот, кажется, что она стекает по подбородку и шее, воспаляя едоков своей дикой, первозданной солоноватостью. Душа сливается с душой, тело трепещет, ощутив вкус крови. Эндрю все еще стоит, бисеринки пота блестят у него на лбу, его взгляд не выражает никаких эмоций. За столом тишина, секунды сменяют одна другую, драматизм нарастает, пока какой-нибудь гость (обычно гостя) не выдерживает и не издает стон восхищения: «О господи, это божественно!» И тут уж остальные присоединяются к восторгам, наперебой, с придыханием восклицая: «Сказочно!», «Бесподобно!», «Невероятно!» Только тогда Эндрю встряхивается, его лицо смягчается и принимает свойственные ему добродушие, безмятежность. Он наполняет вином опустевшие бокалы и присоединяется к гостям за столом.

Десять утра. Утренний концерт смолк, но его последние звуки, кажется, еще витают по квартире, постепенно поглощаемые стенами, потолком и мебелью. Эндрю сидит за рабочим столом, запахнувшись в черный халат с белыми принтами. На кончике его носа, будто шутки ради, восседают миниатюрные очки для чтения. На столе, рядом с ноутбуком, — чашка кофе, несколько карандашей и пар тройка книг. Клавиши, как задорные мышата, путившиеся в пляс по мановению руки фокусника, едва слышно цокают. Прежде чем приступить к работе, он записывает виденный минувшей ночью фрагмент сна в специально предназначенный для этой цели блокнот. Эту привычку он сохранил с тех пор, как начал вести записи собственных снов во время курса лечения у психоаналитика несколько лет назад. *Воин-исполин, обезумевший от ярости, в роскошном боевом одеянии, насквозь пропитанном кровью, движется гигантскими шагами со стороны восхода.* Сон черно-белый, словно кадры из фильма Куросавы, воинское облачение на великане тоже похоже на пышные доспехи японского самурая. Почему вдруг Куросава? Но самое удивительное — сон не вызвал ни малейшего чувства дискомфорта, даже наоборот. В облике воина было что-то одухотворяющее, освобождающее, почти утешительное. Что все это должно означать? Вероятно, какое-нибудь очередное искаженное восприятие фигуры отца.

Десять двадцать. В квартире абсолютная тишина. Эндрю с головой ушел в работу, пишет. Его сосредоточенность глубока, но не обременительна. Он никогда не был педантом, библиотечной крысой. Наука для него — прежде всего творчество, высокое искусство. С губ его не сходит легкая блуждающая улыбка; насвистывая себе под нос бравурный мотивчик, всецело отдавшись своему занятию, он напоминает скульптора

или резчика по дереву, который трудится в просторной, светлой студии.

Большинство ученых его поколения, продукт шестидесятилетнего экстаза, конвертировали свое юношеское бунтарство в политический радикализм, что отнюдь не продвинуло их на поприще научной методологии. Эндрю не поддавался дешевому соблазну стать бунтарем по профессии — его никогда не прельщала скандальная роль университетского анфан террибль. Знакомый с классической критикой капитализма не понаслышке и сам блистательно излагавший в своих лекциях ее бунтарские послы, он, тем не менее, не стал ее заложником, не дал овладеть собой гневу и ожесточению, которые давно уже стали визитой карточкой многих его коллег. Его мысли, летучие, жизнеподъемные, могли парить и с высоты птичьего полета легко менять ракурс, открывать новую перспективу, иногда отдаваясь свободному творческому падению, как Алиса в кроличьей норе.

В половине одиннадцатого ожил автоответчик и заговорил голосом Линды: «Привет, Энди. Насчет Дня благодарения. В четыре, как всегда. Будут все. Ничего не приноси. Элисон передает привет. Пока». Линда по обыкновению планирует все на несколько месяцев вперед и не верит, что он способен помнить такие вещи. Упоминание об Элисон вызывает на лице Эндрю улыбку. Она такая прелесть, эта девчоночка. Он видит ее слишком редко. Проклятая нью-йоркская жизнь совсем не оставляет времени для самого важного. Он придет с букетом цветов и бутылкой хорошего вина. Нет, лучше не вино, а шоколад. Большая коробка бельгийских шоколадных конфет. На углу 84-й улицы и Бродвея как раз открылся новый шоколадный бутик «Годива». Решено — бельгийский шоколад и цветы! Линда не оставляла ни одного звонка без ответа. Если телефон звонил, она всегда спешила к аппарату, брала трубку, как послушный, старательный клерк. Коммивояжеры будили ее в субботу с утра пораньше, а докучливые подруги до позднего часа изливали ей свою душу, хотя у нее глаза слипались от усталости. Ей и в голову не приходило,

что телефонную трубку можно снимать, сообразуясь со своими потребностями и условиями.

Десять сорок. Пальцы Эндрю все так же порхают над клавиатурой. Он берет со стола книгу, открывает, пролистывает несколько страниц, находит то, что ищет, возвращает томик на место, не отрывая взгляда от экрана. Десять пятьдесят. Масленный голос мисс Харти, секретаря его кафедры, раздается в квартире. Не мог бы он связаться с ней в течение дня? Нет, это не срочно, но она будет ждать его звонка. Эндрю хмыкает, снова берется за книгу, выверяет цитируемый им текст по оригиналу, указывает номер страницы и год издания, закрывает книгу и кладет ее обратно в стопку. Эндрю считался модным мыслителем, но не потому, что стремился им быть, как предполагали многие. Обвинявшие его в популизме недоброжелатели ошибались, потому что судили по себе. Проецируя на него собственное догматичное «я», они не могли понять его истинных мотивов, как и предугадать, в какую сторону будет меняться академический климат, быть на полшага впереди, что удавалось ему. Актуальность и современность его исследований, то, как легко, играючи обращался он с языком, стремительный и непосредственный переход от аксиом к вроде бы не связанным друг с другом дискурсам — все это свидетельствовало не о ветрености и бойкости, а о неугомонной, питер-пенновской его натуре, из-за чего даже коллеги намного моложе его чувствовали себя рядом с ним скучными ретроградами и консерваторами. Им претила не только поэтичная вольность, которую он позволял себе, но и то, что они называли научпопом (или «мягкой наукой», как определил это явление некий культуролог, неомарксист, которого не утвердили на постоянную должность в Нью-Йоркском университете, в связи с чем он вынужден был мотаться в другой штат, в один из общественных университетов, действительно ратующих за равноправие, расположенный в полутора часах езды от города). Но и в этом они ошибались: его заметное присутствие в весьма широком диапазоне и СМИ, и областей знания, не было результатом конъюнктурных соображений или желания искусственно раздуть

собственную библиографию. Просто его любознательный и открытый ум отказывался ограничиваться какой-то одной, эксклюзивной областью. В этом смысле Эндрю был настоящим человеком эпохи Возрождения.

Одиннадцать двадцать. Робкий голос Берта, его ассистента по учебной части, просит разъяснить пункты один и семь в списке обязательной литературы. Он говорит торопливо и нервно. Зная, что Эндрю отвечает далеко не на все звонки, он приучил себя не видеть в этом личного оскорбления, но все равно чувствует себя не в своей тарелке каждый раз, когда ему приходится оставлять сообщение на автоответчике. Как только Берт вешает трубку, тут же раздается звонкий девичий голосок, очевидно, из младших секретарей: «Алло? Профессор Коэн? Здравствуйте». Она приглашает его от имени администрации на открытие выставки в следующем месяце. Эндрю продолжает писать. Практически любое сообщение, начинающееся со слов «алло, профессор Коэн...», он пропускает мимо ушей. Все записанные на автоответчик звонки он прослушивает раз в два-три дня и отвечает на них по телефону из офиса. Порой он поручает эту работу своим ассистентам, которые, как он замечал, от радостного сознания собственной важности волнуются точно малые дети, переполняемые гордостью оттого, что родители поручили им особое, «взрослое» задание. Иногда он просит Берта принять от своего имени то или иное приглашение или, наоборот, с извинениями отказаться, а в исключительных случаях на подмогу приходит сама мисс Хартли, легендарный секретарь их кафедры. Подобный поступок с ее стороны расценивался другими преподавателями как нечто невероятное, нарушающее порядок в природе, тем более что она начала продельвать это задолго до того, как в кулуарах распространился слух о назначении Эндрю на новую должность в будущем сентябре. Однако никто и никогда не протестовал — ни открыто, ни за спиной — против его обаятельной бесцеремонности, с какой он позволял своим «оруженосцам» освобождать его от рутинных забот, само существование которых словно бы противоречило его аристократичному имиджу. Никто не чувствовал

себя уязвленным не только потому, что неизменно вежливый и учтивый со всеми Эндрю ни разу не перешел, как это бывало с иными его коллегами, границы здравого смысла, но в первую очередь из-за драгоценных, пьянящих и мигом вызывающих привязанность минут, проведенных с ним наедине во время получения задания или же рапорта о выполненной миссии.

Одиннадцать сорок. Эндрю понадобилась секунда, чтобы распознать голос агента по найму недвижимости: «Все улажено. Дом в Монтоке в вашем распоряжении все выходные в третью неделю декабря. Вы с вашей приятельницей, — (ему почудилась улыбка?), — можете заехать уже в четверг. Приятных выходных!» Эндрю удовлетворенно хмыкнул: он любит романтические чары маленьких курортных городков, совершенно невыносимых в разгар сезона. Как чудесно будет провести там время вдвоем — немного тишины и уединенности перед тем, как начнутся зимние праздники с их суетой, а за ними и весенний семестр.

Четверть первого. Чистый, звучный женский голос отозвался эхом по всей квартире: «Папа! Привет, папа, я знаю, что ты дома!» Эндрю встряхивается. Рэйчел. Он торопливо кликает на «сохранить», бежит к телефону и хватает трубку. Из-за встряски, вызванной бегом, его «алло» выскакивает изо рта слишком поспешно, он запыхался, голос сдавлен. «Привет, папа, это ты? Я уж подумала, тебя и правда нет дома».

7

Рэйчел не была похожа ни на мать, ни на отца, и Линда шутила, что в родильном отделении им подменили ребенка сразу после родов. Тонкая, вытянутая, она отличалась суровой, угловатой красотой, наводившей на мысли о воспетых поэтами-романтиками чернооких «еврейских девах» и «дочерях раввина», красотой, которая была настолько противоположна фарфоровой кукольности типично американской голубоглазой блондинки-чирлидерши, что ее можно

было бы назвать вызывающей. Девочка унаследовала от отца аристократическую ауру, только в отличие от отцовской, светлой и холодной, ее аура была скорее черно-красной, огненной и страстной. Когда Рэйчел сердилась, ее ноздри грозно раздувались, а губы изгибались в завораживающей, злой и заносчивой улыбке, которая пугала собеседника не меньше, а то и больше, чем открытый гнев. Ее витиеватая английская речь, точная, виртуозная и напористая, безжалостным стаккато пресекала все возражения, отменяя их как наивную детскую глупость.

Реверсом драгоценной монеты ее характера, вторым полюсом страстного и противоречивого уравнения ее личности была безбрежная и нежная сладость, след которой, беря и пробуждая тоску, оставался с тем счастливым, кому довелось целовать ее, еще долго после того, как она теряла к нему всякий интерес и бросала за ненадобностью на обочине, уносясь дальше по тернистому шоссе своих романтических отношений. Но в присутствии Эндрю ее черты невольно смягчались. Улыбка растягивалась, утрачивала прозорливую саркастичность. Иногда Рэйчел смеялась в полный голос и, сама того не замечая, наклоняла голову вправо и терлась щекой о свое плечо, и этот жест возвращал их обоих в прошлое, к той смысленной прелестной девчужке пяти лет от роду, папиной дочке, которой она когда-то была, когда они часами играли вместе в слова, соревнуясь в сочинении запутанных рифм для лимериков (требующих немало фантазии и изобретательности), изумляясь своим способностям расширять границы языка и даже самой действительности, творя и разрушая дивные миры громогласными раскатами хохота. «Алиса в стране чудес» была их любимой книгой. Они обожали ее эксцентричную подвижность, бесконечный полет фантазии, разговаривали цитатами из нее и чувствовали себя на ее страницах как дома, будто они сами сообща их написали. Линде тогда нравилось наблюдать за ними — ей доставляло радость видеть союз отца и дочери, который казался ей каменной стеной, оберегавшей их «благословенное вместе», нерушимую целостность семейного круга.

Развод подействовал на Рэйчел угнетающе. Ей исполнилось четырнадцать. Исключительно чуткий и умный ребенок, она сумела раньше своих родителей распознать сигналы бедствия, которые они подавали, сами того не сознавая. Она ясно видела приближающийся разрыв, более того, она — с навязанной ей душевной зрелостью — смогла разглядеть в рождении Элисон последнюю, отчаянную попытку собрать воедино их распадающуюся семью; но она была в смятении и чувствовала себя не менее преданной, чем ее мать, когда Эндрю ушел из дома и поселился в однокомнатной квартирке, как раз освободившейся в преподавательском общежитии между улицами Бликер и Хаустон. Рэйчел запиралась в комнате и часами лежала на кровати в наушниках, слушая музыку на такой громкости, что звуки, которым надлежало быть не снаружи, а внутри, вырывались из амбушюров и разносились по всей комнате. Ошеломленной, раздавленной случившимся Линде (в какой-то момент у нее даже подозревали нервное расстройство) было не до Рэйчел. Ее материнского инстинкта едва хватало на то, чтобы заботиться о маленькой Элисон.

Рэйчел росла словно в дикой природе, познавая разнообразные пути взрослого мира методом проб и ошибок, чередуя полную безответственность с несвойственной ее годам гиперответственностью. Она забила, как говорят студенты, на учебу и вместо пар предпочитала курить марихуану, слушать музыку и тискаться, с остекленевшими глазами, вся в поту, со случайно подвернувшимися парнями. А по вечерам она чаще всего возилась с крошкой Элисон: кормила ее, купала, читала ей на ночь сказку и укладывала спать, а потом сидела на кухне и ждала мать, которая возвращалась поздно, бывало и далеко за полночь, порой вдребезги пьяная и растрепанная, порой не в меру восторженная, и делилась с дочерью своими приключениями, рассказывая ей во всех подробностях, вплоть до самых интимных, о свидании с каким-нибудь коллегой,

или свежеспеченным вдовцом, или приятелем приятеля, закоренелым холостяком, а однажды — это был пик ее бесшабашности — и вовсе с незнакомцем, с которым она сошлась на вечеринке. Рэйчел слишком рано потеряла невинность, переспала со слишком многими парнями, и постепенно ее облик и стиль становились все более циничными, даже чересчур. Она считала, что в самой природе женского существования заложены лишь два пути: обида и ярость. И выбрала ярость. Рэйчел ненавидела слабость. Потребовались годы, чтобы ее чувства к матери утратили горечь и потеплели.

Линда в конце концов пришла в себя, и теперь ее жизнь вращалась исключительно вокруг карьеры, а Рэйчел заново научилась ее уважать, но иначе — скорее как ровня, а не дочь. И когда через четыре года после развода Линда встретила Джорджа, обаятельного клинического психолога, любителя садоводства, литературы и музыки, а еще спустя год они поженились со скромной светской церемонией в Бруклинском ботаническом саду, Рэйчел искренне радовалась за мать и с удовольствием исполнила неофициальную роль подружки невесты. И даже то, что Эндрю пригласили на праздничный вечер, не испортило ей настроения — по крайней мере, она этого не показала.

9

1 ОКТЯБРЯ 2000 / 2 ТИШРЕЯ 5761

Есть что-то особое в ленивых воскресных утрах, начинающихся после полудня. И как не курьезно отправляться в пекарню за бейглами с мягким сыром и апельсиновым соком, когда тяжелеющее солнце уже начинает клониться к западному краю небосвода, отбрасывая на поверхность реки первые закатные блики, но как заведено, так заведено. Эндрю кивком приветствовал консьержа и вышел из дома, по обыкновению задержавшись у двух атлантов, красующихся

по обе стороны от входных дверей. Фасад украшали gargules — вытесанные из камня не то черти, не то шуты, которые когда-то в средневековой Европе что-то символизировали, но здесь, в Новом Свете, были символами единственно самих себя. Два полуобнаженных атланта, молодых, сильных и красивых неоклассической красотой, держали на своих плечах здание с бесконечной Теламоновой усталостью, застывшей на их страдальческих лицах. Правая фигура с устремленным ввысь взором подпирала рукой щеку, почти по-детски, и выражала крайнюю степень отчаяния; левая прикрыла лицо ладонью, стыдясь того, что ее возможности не безграничны и оплакивая неизбежное крушение стен, когда силы окончательно ее покинут. Чуть выше над входом, без всякой связи с атлантами, напоминая об иной традиции, в венке из листьев и фруктов щерился улыбкой курносый демон-хитрован, слегка косящий узким глазом в сторону правой фигуры, будто замышляя против нее что-то недоброе. Эндрю так же, как до этого консьержу, кивнул атлантам и зашагал по улице.

Влажный и теплый, не оставлявший сомнений в глобальном потеплении октябрьский день встретил его приветливо. В воздухе звенели голоса — странно, в воскресные дни здесь обычно тихо. Что-то творилось вокруг, что-то необыкновенное, отчего все его существо пришло в необъяснимое волнение и снова пробудилась острая тоска по неведомому. Он вновь почувствовал, как сердце распирает грудь, неожиданные слезы подступают к глазам. Послышались далекие отрывистые звуки духовых, словно их принес налетевший ветерок. Голос труб, шофаров из газельего рога, покрытых чистым серебром. Город-крепость, толстобрюхий, как беременная жена, стоит у речной переправы. В день седьмой крепостная стена рухнет, рассыплется в пыль. Откуда доносятся эти трубные звуки? Может, сегодня парад? Играет духовой оркестр? Вот раздалась знакомая мелодия — он ее знает, это Shilo¹ Нила Даймонда. Неужели ее

¹ Шайло (англ.), Шило (ивр.) — имя, омонимичное названию древнееврейского города Силома, где располагалась Скиния. В Талмуде также одно из имен Мессии.